

Анна и Амедео

Борис Носик

Поздней весной, в самом начале июня, супругов Гумилевых можно увидеть на парижской улице. Вот они выходят из отеля после завтрака, замерли на мгновение на тротуаре. «...» Она очень высокая, с царственной походкой и неповторимым, нисколько не русским профилем — этот точно срезанный, отнюдь не маленький, безусловно царственный нос. Н.Г. Чулкова встречала Аннушку на парижской улице: «...» «Она была очень красива, все на улице заглядывались на нее. Мужчины, как это принято в Париже, вслух выражали свое восхищение, женщины с завистью обмеривали ее глазами. Она была высокая, стройная и гибкая... На ней было белое платье и белая широкополая соломенная шляпа с большим белым страусовым пером — это перо ей привез только что вернувшийся тогда из Абиссинии ее муж — поэт Н.С. Гумилев».

Здесь беглый портрет — Анна словно отражена в глазах прохожего-парижанина, и напрасно требовать от мимолетного этого наброска словесной точности. Ибо что значит «очень красива»? Даже влюбленные в нее мужчины говорили (чуть позднее, впрочем, еще через пять и через десять лет) не о красоте ее, а о чем-то ином, «даже большем, чем красота». Вот как влюбленный в нее эстет, литературовед и писатель Николай Недоброво писал о ней (27 апреля 1914 года) своему другу-художнику (мозаичисту) Борису Анрепу: «Просту красивой назвать ее нельзя, но внешность ее настолько интересна, что с нею стоит сделать и леонардовский рисунок, и гейнсборова портрет маслом, и икону темперой, а лучше всего поместить в самом значащем месте мозаики, изображающей мир поэзии...» «...»

Объективности ради приведем свидетельство и другого литератора, поэта и критика (Г. Адамовича), чье мнение трудно считать пристрастным, ибо страсть в нем зажигали, как правило, не женщины, а мужчины: «...Нет, красавицей она не была. Но она была больше, чем красавица, лучше, чем красавица. Никогда не приходилось мне видеть женщину, лицо и весь облик которой повсюду, среди любых красавиц, выделялся бы своею выразительностью, неподдельной одухотворенностью, чем-то сразу приковывавшим внимание...»

Добавим к этому, что она была ясновидящая, русалка, ворожея, ведунья, колдунья (или считала себя таковой, а это почти то же самое), что она была «настоящий поэт» (или уже считала себя таковым), что она была загадочная «русская аристократка» из загадочной страны России. «...»

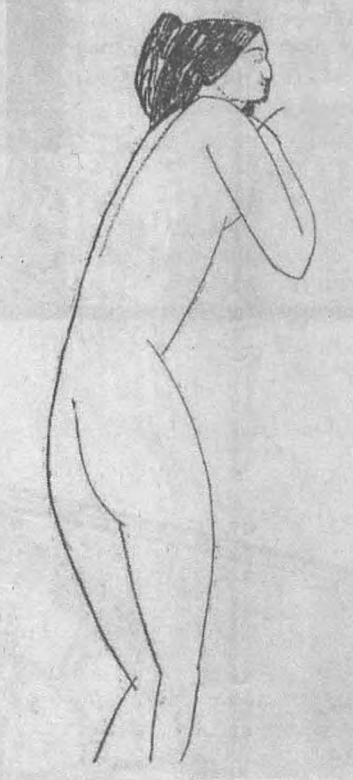
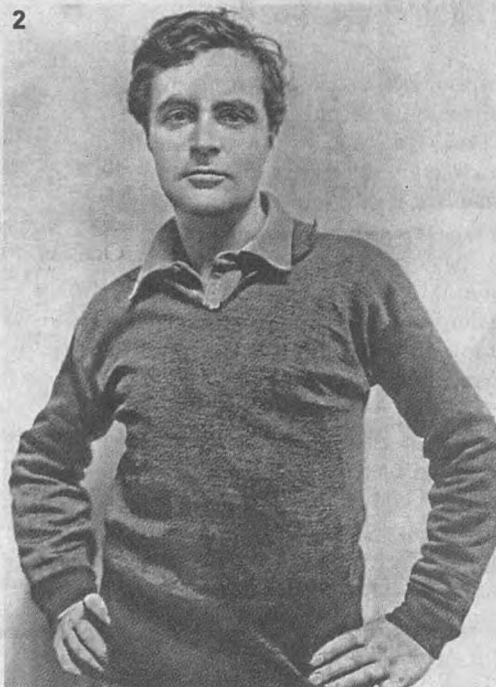
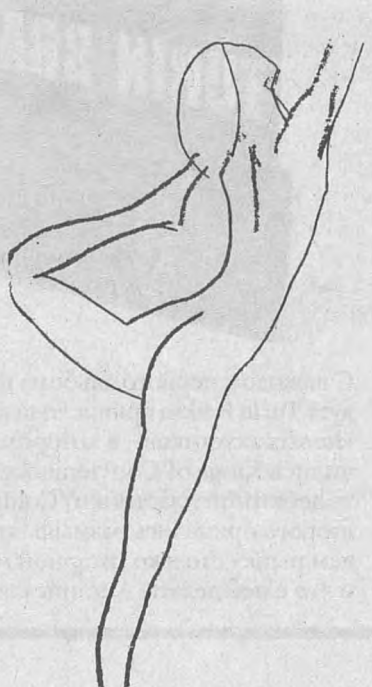
Ну а спутник ее, что стоит в этот весенний день 1910 года на тротуаре рядом с растерянной женой, оглядывая хорошо знакомую, даже, можно сказать, привычную для него парижскую улицу, — Николай Степанович, Николай Гумилев, Коля, — что он, каков на вид? Так мало говорят нам все эти его бледные фотографии и дагерротипы начала века, что предпочтем снова предоставить слово его современникам, мужчинам и женщинам. Вот, скажем, как описывает тогдашнего Гумилева Сергей Маковский. «Юноша был тонок, строен, в элегантном университетском сюртуке, с очень высоким темно-синим воротником (тогдашняя мода) и причесан на пробор тщательно. Но лицо его благообразием не отличалось, бесформенно мягкий нос, толстоватые бледные губы и немного косящий взгляд (белые точеные руки я заметил не сразу). Портит его и недостаток речи. Николай Степанович плохо произносил некоторые буквы, как-то особенно заметно шепелявил...» Совсем юному царскоселу Николаю Огупу тоже запомнились «сильно удлиненная, как будто вытянутая вверх голова, косые глаза, тяжельные медлительные движения и ко всему очень трудный выговор...». Женщины, впрочем, к внешности Гумилева куда более снисходительны, женщинам он умел внушать симпатию и даже любовь. По описанию жены его брата, он был «высокий, худощавый, очень привлекательный, с крупными чертами лица, с большими светло-синими, немного косившими глазами, с продолговатым овалом лица, с красивыми шатеновыми, гладко причесанными волосами, с чуть-чуть иронической улыбкой, с необыкновенно тонкими, красивыми белыми руками. Походка у него была мягкая, и корпус он держал чуть согнувшись вперед. Одет он был элегантно». Оригинальность и подчеркнутую элегантность его костюма отмечали, впрочем, все — и лиловые носки при лимонной феске и русской рубаше на даче, и оленью доху с белым рисунком по подолу, ушастую оленью шапку и пестрый африканский портфель зимой в Петербурге. «...»

Таков портрет молодого супруга Анны... В нем уже угадывается подчеркнутая манерность, непрестанная игра, «игра в роли», ставшая второй натурой. Роли, маски, литературные его герои страстались с этим странным юношей, и в упорстве своем он переделывал самую свою природу. Он был хилым и не слишком героическим персонажем от рождения, но он страстался мало-помалу с персонажами своей «конквистадорской» поэзии и становился бесстрашным, рвался в бой, проявил героизм на войне и обрел славную, мученическую смерть под пулями большевистских убийц...

Можно догадаться, глядя сейчас на молодую пару, стоящую на парижском тротуаре, что наряду с молодой радостью от встречи с веселым солнечным утром и этим желанным для всякого русского прославленным городом оба испытывают душевное смятение от того, каким тяжелым оказалось совместное совместное житье, как оно противоречит всем их представлениям об ослепительном счастье, которое должно было свалиться на них от этого соединения под одной крышей. Как трудно обоим, гордецам и своевольникам, отказаться хоть в малом от своей «постылой свободы», как непохожи ночные неловкие их, зачастую попросту унижительные усилия на то восхитительное бесконечное забвение страсти, о котором они столько читали, столько слышали и даже писали уже в своем нестерпимом

История тайной любви Ахматовой и Модильяни, или Рисунок в интерьере

Только читатели «Известий» первыми могут познакомиться с повестью известного современного писателя-эмигранта, автора первой русской биографии Владимира Набокова Бориса Носика — «Анна и Амедео». Это восстановленная по документам и свидетельствам современников история взаимоотношений одной из самых ярких пар XX века — поэтессы Анны Ахматовой и художника Амедео Модильяни. Они познакомились в 1910 году в Париже во время свадебного путешествия четы Гумилевых. «Он водил меня в Лувр смотреть Египетский отдел, уверял, что все остальное недостойно внимания. Рисовал мою голову в убранстве египетских царей и танцовщиц», — вспоминала позже Ахматова. Полностью книга выйдет в издательстве «Вагриус» в июне.



1. 25 апреля 1910 года Анна Ахматова вышла замуж за друга юности Николая Гумилева. В свадебное путешествие они отправились в Париж

2. В 1906 году Модильяни появился в Париже на Монмартре. Ему было 22 года

3. Амедео Модильяни. Автопортрет. 1919 год

Наброски:

В Париже в конце весны 1911 года восхищенный Модильяни создал знаменитые ню — 16 рисунков — портретов Ахматовой

нии открыть миру глаза. Возможно, наш влюбленный конквистадор слишком сильно робел для того, чтобы заявить о своем праве старшего и мужчины. Она же, полная мыслей и воспоминаний о читанном, выдуманном, полуиспытанном, вряд ли могла его поощрить, подбодрить, научить чему-либо. Невольно должна была посещать ее (да, наверно, и его тоже) мысль о том, что с другим (с другой) было бы иначе, было бы по-настоящему. «...»

Показав молодой супруге красоты прославленного города, конечно же привел ее Гумилев на Монпарнас — в знаменитую «Ротонду», что и ныне красуется вывеской, бывлой славой и новой дороговизной на углу бульвара Распай, улицы Вавэн и бульвара Монпарнас (памятный для русских на протяжении чуть не трех десятилетий угол).

Думаю, что именно тут, в «Ротонде», и увидели впервые друг друга Анна и Амедео. «...»

Ко времени приезда нашей героини в Париж окончательно сложилась репутация Большого Монпарнаса, а крошечное кафе «Ротонда» обзавелось красивым залом (точность сообщения — на совести Анри Раме и его записок «Тридцать лет Монпарнаса»). Впрочем, очень скоро и в этом зале стало тесно, шумно и закурено, как в каком-нибудь английском пабе. В самые бойкие часы, с пяти вечера до полуночи, здесь нелегко было найти место за столиком. Одни со стаканами в руках стояли вокруг стойки, оживленно о чем-то споря, другие деловито пробирались между спинами, стараясь не расплескать ненароком свои и чужие стаканы. Были тут заезжие новички-иностранцы, но по большей части все же были свои, завсегдатаи, — художники, скульпторы, поклонники искусства, они же зачастую и торговцы — маршаны, поэты, актеры и актрисы, будущие знаменитости («будущих» вообще было много), журналисты, манекенщицы и прочий ботемный люд, «монпарно».

Конечно, попадались также политики разных стран и национальностей, тоже пока мало кому известные, — скажем, бывал Лев Троцкий со своим мексиканским другом, кубистом Диего Риверой, которому суждено было стать у себя в Мексике большой знаменитостью. Интересно, что чувствовал поэт и ясновидец Гумилев, сталкиваясь у стойки с одним из будущих своих палачей — Троцким? Да и сам-то Троцкий мог ли разглядеть очертания своей будущей российской карьеры и страшного своего конца (да уже и не в России, а в Мексике его друга Диего Риверы), разглядеть в веселой гомонящей толпе у стойки тех, кто предаст его другому бандиту из их шайки? Куда там... никто ничего не почувствовал, не разглядел, на дворе стояла еще только весна 1910-го, славная предвоенная весна мирного Парижа.

Вон доказывает что-то кому-то острый на язык молодой Эренбург, человек, который позднее то ли обманул судьбу, то ли разменял талант. А вон пришел уже преуспевающий испанец Пабло Пикассо и с ним неизменный Ортис де Зарате. Вон и скульптор Осип Цадкин пришел с верной своей спутницей, огромной собакой Калуж, — загоняет собаку под стол, чтоб не злить добрейшего хозяина «Ротонды», весьма, впрочем, снисходительного к художникам. Вон и еще два скульптора, тоже русские, — Оскар Мещанинов и Жак Липшиц, и Мария Васильева с ученицей, и поэт Марк Талов. А вон и еще обитатели «Улья» — лихой то ли индеец, то ли ковбой Грановский, рубаха-парень (до самого нацистского крематория дотянет на Монпарнасе), и знаменитый «Кики», Кислинг, монпарнасский завсегдатай, по нему утром можно часы ставить — в шесть Кислинг идет из бара (но писать все же успевает и уже вошел в моду). Рядом с Кислингом — мулатка Айша, манекенщица, его и многих верная подруга, экзотический цветок Монпарнаса. Есть и вторая Кики, еще ярче звездочка, хотя и бледнящая. В один прекрасный день она сама взялась за кисть, и оказался талант. Потом написала мемуары. Потом стала певицей. Говорят, что потом фашисты ее расстреляли «по подозрению...»

Вон старики пришли — Андре Дерен, Отон Фриз, Шарль Герен. Японец Фужита с сергой в ухе, важный, молчаливый, изредка перекинется двумя-тремя словами с денди в фетровой шляпе и красном шарфе, тосканцем Модильяни. Этот последний с неизменным своим низким блокнотом, пока трезв, говорит мало — все время рисует. Иногда вдруг остервенело рвет прелестный рисунок, чем-то не дотянувший до ему одному известного уровня. Ищет глазами новую модель, потому что без контакта с человеческим лицом, душой, фигурой писать не может. Для него нет ничего в мире, кроме этого вена творения — человека. Огляделся вокруг — и вдруг замер изумленно... Лицо... И какое лицо... Молодая женщина... Откуда? Женщины тут вообще редки, но такие и вовсе... Она опустила этот взгляд, подошла, села напротив. Они заговорили... Где был в это время Гумилев? Может, отошел взять кофе, рюмку вина. Когда вернулся, он все понял и пришел в ярость — этого он ждал, этого опасался все время...

Она-то сразу, как вошла, заметила этого красивого человека в красном шарфе. Через полвека рассказывала

об этом мгновении многим — всякий раз по-разному, уже шло мифотворчество. Рассказывала и писала, что он «был совсем не похож ни на кого на свете» (не слишком оригинальная фраза для влюбленной женщины — хотя бы она и была великая поэтесса и хотя бы со дня их встречи прошло 54 года!). Рассказывала, что «все божественное» в нем «только искрилось сквозь какой-то мрак». Рассказывала, как впервые заметила красивого бледного человека в красном шарфе... Рассказывала, что ее поразило его голос (о котором она потом столько раз писала в стихах). По-разному вспоминала. Скажем, так: «Думаю, какой интересный еврей... А он думает, какая интересная француженка...» — это уже из поздних повторявшихся (но часто противоречивших друг другу) рассказов, из тех, что подруга Надя называет «пластинками», и это, конечно, была выдумка. Ведь только год спустя (по ее собственному свидетельству) он впервые сообщил ей, что он еврей (сообщил, чтобы вдруг не подумала, что скрывает). Что ж до того первого раза...

Он ведь и не похож был на еврея (особенно в космополитической толпе «Ротонды»). Она к тому же не знала скорее всего, кто это такой, сефард... Что же до него, то он тоже вряд ли принял ее за француженку — слишком яркое лицо, иная смесь кровей...

Может, их представил тогда друг другу кто-нибудь из русских (скажем, Мария Васильева или Осип Цадкин). Это не так важно в конце концов. Теперь нужно было заговорить. Кто заговорил первый? Она вспоминает, что его поразило ее умение читать мысли, умение, о котором «все знали» (где знали — в Царском Селе, в Киеве?). Может, и правда поразило... Когда женщина нравится, в ней все поражает.

Ну а что там она угадала, какие мысли? Была ведь еще совсем молоденькая... Наверно, сказала: «Как только вы можете работать в таком аду?» А он отозвался (он часто так говорил, и Леопольд Сюрваж даже записал в свой блокнот эту его жалобу): «Да, вы угадали... Здесь тяжело... Моя страна Италия, где все дышит искусством... Флоренция... Или родной мой город Ливорно... Меня тянет туда. Счастье там и там здоровее... Но живопись сильнее... А только в Париже я могу работать. Страдать, быть несчастным, но работать...»

Он не сказал — погибнуть, но слово это могло прийти ей в голову. Какое сердце не дрогнет при такой исповеди? Она взглянула на его стакан, и он кивнул, сказал с вызовом: «Алкоголь отторгает от всего... Уводит внутрь самого себя... Я пью не для веселья. Это тоже для работы...»

Он оборвал линию в блокноте. «Покажите», — сказала она. Она так хотела увидеть, что там. К ее ужасу, он вдруг стал с остервенением рвать лист, выдернув его из блокнота. «Да, да», — сказала она вдруг. — Мои старые стихи... Я тоже...» Она подняла голову, и она поняла, что слово «стихи» для него не безразлично. «Мой муж поэт», — сказала она гордо. Но он даже не повернул голову к подошедшему Гумилеву. Гумилев сказал по-русски, что пора уходить из этого сарая. Что и так уж они слишком... Точнее, она слишком... Модильяни вдруг заговорил, ни к кому не обращаясь. Голос у него стал обиженным, сварливым. Он сказал, что это низость — говорить при нем на языке, которого он не знает. Что ни один из его русских друзей так бы не поступил. Что он никому не позволит... На них теперь смотрели с любопытством. Все знали, что когда у Модильяни такой голос... «Нам надо илти», — сказала она, поспешно вставая. Гумилев улыбался — он-то знал, что этим кончится. Модильяни притих. «Мне нужен

ваш адрес, — сказал он безнадежно, — я все объясню. Вы ничего не поняли...» «Я принесу адрес, — сказала она. — Я еще зайду...»

Гумилев смотрел на нее с отчаянием. Он уже знал, что ее не остановит ничто. Она сделает все, что ей захочется. Свободная женщина, свобода, борьба за свободу — боже, какая тоска... Она будет сидеть бледная и страдальчески молчать, когда они придут в отель, и им снова нечего будет делать друг с другом.

У нас, как точеные, руки, Красивы у нас имена? Но мертвой, томительной скуке Душа навсегда отдана.

Позднее она рассказывала, что у Гумилева произошла какая-то ссора с Модильяни из-за того, что Гумилев говорил в его присутствии по-русски, что Модильяни был пьян. Когда и где это было, она не уточняла, она вообще почти никогда не говорила о том, что знал и что думал обо всем этом Николай Гумилев. Раз только проговорила смутно через пятнадцать лет, и то сразу пошла на попятный...

Через полвека в своих очень сдержанных воспоминаниях (о ее чувствах там ни слова) она написала, что они виделись с Амедео в 1910-м, но тогда она «видела его чрезвычайно редко, всего несколько раз». Легко понять, что ей, при всем ее своеволии, непросто было ухаживать одной, без молодого мужа, в этом странном «свадебном путешествии»... Где она видела с Амедео, что было между ними?... Иные искусствоведы датируют ее ию 1910 годом. Может, он уже тогда рисовал ее но? Где?... Он писал ей «всю зиму» безумные письма, из которых она «запомнила несколько фраз», а гласности предала две...

Она была высокая, стройная и гибкая... На ней было белое платье и белая широкополая соломенная шляпа с большим белым страусовым пером — это перо ей привез только что вернувшийся тогда из Абиссинии ее муж, поэт Н.С. Гумилев

Тосканец Модильяни — денди в фетровой шляпе и красном шарфе с неизменным синим блокнотом — огляделся вокруг и вдруг замер изумленно... Лицо... И какое лицо... Молодая женщина...